

АНДРЕЙ БИТОВ — ПРЕЗИДЕНТ РУССКОГО ПЕНА: «Мы живем в настоящем времени»

Александр Вальцев

Литература

В ПЕЧАТИ проходит очень мало информации о ПЕН-клубе. Поэтому хотелось бы знать, чем он занимается и кому он нужен?

— Тут сразу тянет теоретизировать. Есть вещи, которые, сколько ни повторяй, остаются непонятными. И я уверен, что и через год придут и будут спрашивать, что такое ПК. Поэтому я уже не обижаясь и понимаю, что положение обязывает и надо информировать, но одновременно я чувствую, что это безнадежно. Если в России был так популярен Хемингуэй, то во многом потому, что первая и последняя буква родня для нас это длинное слово с одним коротким. Или Хулио Картакас — это половина славы... Значит, так: ПК — организация, существующая с 21-го года, международная, 90 центров по всему миру. Возник в Англии. В принципе это правозащитная организация — в плане защиты свобод слова — и должна защищать тех, кто страдает за выражение своих мыслей письменным словом. По этому поводу существует хартия. Предполагалось сразу включить в список членов и Россию. Но все попытки были неудачны. У нас эта организация считалась буржуазной, реакционной... ну, какие там еще были ругательства? В первых главах «Улисса», написанных еще в «Интернациональной литературе», можно найти место, где обсуждается вопрос вхождения России в ПЕН-центр. Я знаю, Пильняк был ходатаем по этому делу. Могу представить, сколько людей было обвинено в шпионских связях и ликвидировано — все из-за этого ужасного ПК, который, конечно, не принимал, насколько знал, того, что у нас творилось. Войнович рассказывал мне, что обнаружил в КГБ документ, где он обвинялся еще в 75-м году в попытке создания ПК.

— Это имело какие-то основания?

— Не знаю, но сам пример показателен. Образовался же

ПК, как говорится, «под давлением мировой общественности». Потому что иметь международный ПЕН без России, чья литература входит до некоторой степени в число мировых литератур, — это смешно. И на третий год перестройки все еще было очень трудно доказать, что может существовать организация негосударственного толка. Например, было совершенно невозможно объяснить, из каких средств мы будем платить за электричество, скажем. Мы же были и есть часть международного ПЕНа, нас никто не содержит.

— Откуда же у вас средства?

— А вот это и есть огромная проблема. Нам еще помогли экипироваться, стать конторой, завести факс, ксерокс, компьютер. «Сорос», в частности, помогал. Теперь нам надо платить за аренду, за телефон, платить служащим. И поэтому нам пришлось осваивать род деятельности, которым ни один ПЕН не занимается. Другие ПК существуют за счет членских взносов, какой-то спонсорской помощи, и основные их заботы — это копить и собирать на очередной съезд. Есть ежегодный мировой съезд. Это такая большая тусовка, проходящая в красивом месте...

— Здесь есть некоторые противоречия: пока покупались на права писателей, не мог существовать и российский ПЕН-центр, а возник он ровно тогда, когда право писателей на свободу слова перестало оспариваться государством. И зная историю нашей страны, можно легко предвидеть, что, как только идеологические гайки будут закручены вновь, в тот же день закроют и ПЦ. То есть правозащитная деятельность в качестве основной здесь кажется весьма сомнительной.

— Правозащитная деятельность — это все-таки не свобода печати. Мы защищаем личность, персону. Что же касается такой опасности, что нас закроют, ну что ж, закроют, так закроют. Задним числом ПК докажет свое право на существование. Но если мы возьмем под свою защиту кого-то из реально преследуемых людей и за это нас закроют и самих подвергнут гонениям,

мы станем предметом защиты уже международного ПЕНа. Если кого-то посадили в кутузку, мы обязаны его защищать, при этом иногда даже принимать в члены ПК. Так неоднократно делала западные ПЦ, шведский например. У нас за это время таких испытаний для нашей совести, к счастью, не было. Вот есть симпатичный такой человек Ширали Нурмуратов, которого все же удалось выцарапать из туркменской тюрьмы. Или в свое время мы защищали покойного ныне ленинградца Олега Григорьева. У него были неприятности, которые не во всем объяснялись идеологией. Но это гениальный человек, и мы его защищали.

— Значит, правозащитная деятельность свелась пока к помощи одному туркменскому писателю?

— Ну почему, мы помогаем кому только можем. А если человек приходит к нам и говорит, что его не печатают, то это беда, а не индивидуальная. А упрекать нас в том, что мы не возникали при Сталине, — ну для этого нет оснований. А за то, что неизвестно, будем ли мы существовать при Жириновском, пока упрекать нет оснований.

— Без вопросов — не будете. А вот какие-нибудь группа, вроде «Доверия», будет. Именно в силу своей полной неофициальности, отсутствия офиса, факса... И будет выполнять свои правозащитные функции. Вас же из-за вашей оформленности, «структурности» закроют в первую голову.

— Есть такая манделштамовская формула: «прививка от расстрела». То есть, чем больше мы утвердимся, тем больше у нас полномочий действовать и в нынешней недемократической ситуации и в будущей недемократической ситуации. Инцидент разгона ПК — это инцидент мирового порядка. А вот опасность вырождения нам грозит куда серьезнее. Но это все вопросы права на существование. Но если мы возьмем под свою защиту кого-то из реально преследуемых людей и за это нас закроют и самих подвергнут гонениям,

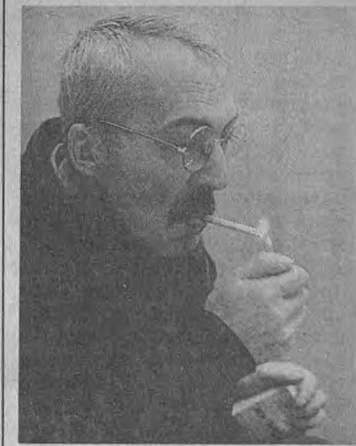
(Окончание на стр. 5)

(Окончание. Начало на стр. 1) — Помогает ли вам международный ПЕН?

— Как правило, у ПЕН-центров мало денег. А, может, они есть, но западные люди не очень охотно с ними расстаются. У нас возникли определенные связи с немецким ПЦ, но при всех его благих намерениях это пока еще не слишком развилось. Трудности же с печатанием, книг вообще с меньшей охотой обсуждаются международным ПЕНом. Потому что это вопрос как бы денег. На Западе тираж в 10 тысяч обеспечивает писателю существование. Обвинять же нас в структурности, к сожалению, преждевременно. Благодаря Анатолию Рыбакову нам удалось в 1988 году снять это здание. И то нас трижды выселял Степанков: мы же сидим в прокуратуре. В государственные структуры мы не вошли. Мы никому не нужны, ни с кем не знакомы, никому не понятны. Нам нужно больше. Какой-то культурный центр, книжный магазин, кафе. Это совершенно нормальные вещи.

— И на это уходит вся активность?

— Ну да. Но что значит моя активность, если я всю жизнь был подпольный, полуподпольный человек, и вдруг оказался на президентском посту? У меня есть довольно здоровые идеи, но они все осуществлялись как бы в другом пространстве. У меня нет связей, я не умею входить в кабинеты, у меня нет высокопоставленных знакомых, оставшихся с прежних времен, потому что я никогда не знал никого выше старшего лейтенанта милиции. Я не умею разговаривать ни с управлением, ни с кем... Было бы хорошо разбогатеть, что невозможно. Нужны люди, которые понимали бы в деньгах, в законах, которых нет. Но такие мозги уходят в другие области. Им не хочется возиться с ПК. Но есть несколько вещей принципиальных, записанных в хартию ПК. Например, сюда нельзя входить с «совком», и ни одной сколки еще не было здесь допущено. Никакой дискриминации, никаких национальных вопросов, никакого дежа: этому больше, этому меньше, а почему? а кто он такой?... Основное условие приема, согласно хартии: «не распространял несчастных по темницам»... Сюда входят люди, не слишком замаравшие себя ни тем, что они писали, ни тем, как они себя вели. Далее — ты обязуешься всегда поддерживать коллег по перу в случае преследования. Но, конечно, в отличие от СИ, где принцип членства не совпадает с реальной литературой, для нас важно качество. Человек должен быть достаточно известен и у нас, и жела-



Андрей Битов

тельно за рубежом. И еще одно условие: важно, чтобы люди не приходили сюда потребителями, а это главное наследие советского режима. Раньше у нас было простое деление — на порядочных и непорядочных. И некоторые получили возможность считать себя героями из-за того, что когда-то не соблазнились. Но, кстати сказать, их и не очень-то соблазняли. Главное, чтобы человек брал на себя какие-то обязательства, когда приходит сюда.

— А какие у писателя обязательства, кроме писать?

— А тогда ему не обязательно вступать в ПК. Сюда надо приходить с какой-то активностью, каким-то предложением, которое может кормить тебя и кормить нас. С этим последним пунктом труднее всего. Все думают: а, здесь собрались сравнительно приличные люди, но я тоже приличный человек, значит, мне здесь место. А после этого сразу следует вопрос: а за границу посылаете, а дорогу оплачиваете?

— Сколько же вас пока?

— Пока у нас 130 членов. Разбукнуть — для нас поигнать. Но ограничивать к себе приток — это тоже поигнать.

— ПК что-нибудь издает?

— Да, это одна из ветвей нашей деятельности. Нетипичная для западного ПЕНа. Мы же, хоть ни в чем не подобны Союзу писателей, Сюда входят люди, не слишком замаравшие себя ни тем, что они писали, ни тем, как они себя вели. Далее — ты обязуешься всегда поддерживать коллег по перу в случае преследования. Но, конечно, в отличие от СИ, где принцип членства не совпадает с реальной литературой, для нас важно качество. Человек должен быть достаточно известен и у нас, и жела-

— Освобождение текста. Мало ли как жил и печатался Мандельштам, Зощенко или Платонов. Важно, какой климат существует вокруг его текста. Насколько культурно, полно, точно атрибутировано можно все это издать. Сперва это не печаталось, потом печаталось в каких-то гробах, могилках, сборниках. Моя мечта — снова напечатать книгу, как она была написана.

— То есть что-то вроде «Литпамятников», но для авторов советского периода?

— Да, для тех, кто в советское время создал совершенно свой мир слова. Что-то вроде предкадемического издания. Все наши серии имеют одну общую концепцию — освобождение. Освобождение автора, имени, книги. Мало ли, что текст опубликован, что отлиты памятники. Текст должен отдохнуть. Вот, скажем, наша вторая серия «Школа классики». Классика есть классика, к тому же в школьном объеме... Но ее надо освободить от идеологии, значит, статьи и комментарии должны быть написаны наконец так, чтобы не считаться идиотом ни учителя, ни ученика, ни ученого. Серия «My best» относится уже к живым членам ПК, будь то Фазиль Искандер, Окуджава или Мака-

— Нет, я говорю совершенно о другом. У этих писателей есть читатели, но все равно их книги не возьмет коммерсант, который гонится за быстрой прибылью в условиях падающего рубля. Мы хотим сделать небольшой том, куда писатель отберет, со своей точки зрения, лучшее, снабдит авторским напутствием, и мы это пустим в серии, с каким-то значком, с каким-то русским пингвином. И это не благотворительность. Серия у нас открывается Петрушевской, Искандером, Понтером Грассом. Эти три книги уже в работе. И я думаю, что такая упорядоченность и серийность, при условии что это будет культурно издано, может привлечь читателя. Читателя же надо и привлечь, и возобновить с ним связь, и воспринять. Или вернуть ему веру. Читатель любит традицию.

— Косяемся чуть-чуть вашего творчества. Самое начало 60-х, ну это примерно как у всех, а потом

нарастание классичности звучания. Ориентация на Пушкина и нашу классическую литературу. В то время как от большинства шестидесятников остается впечатление, что они все вещи называют неясно. Языком людей, которых раньше не было, называют вещи, которых тоже раньше не было. Препней культуры словно не существовало. Есть черты бытнической культуры, блатной, но не русской. Великая русская культура для них как Библия, Книга, которая уже написана и не может быть продолжена. Между ней и ими лежит пропасть. У вас же стал возникать синтез с традицией.

— Попытка сказать новое в годы застоя была очень несложна. Тогда любой социальный опыт становился новым, если он умудрялся быть так или иначе сказанным. Это непереваренная литература. Правда, это могло быть окрашено силой личности или характера. Ну насколько это бывало окрашено, настолько это и бывало ярко.

— Но приблизительно то же самое и сейчас. Как раньше открывали огромные новые культурные области и тут же применяли все, что там было, на себя, так и теперь. Новое поколение работает в основном с приемами, почерпнутыми здесь или там.

— Насчет того, что сейчас в литературе происходит, мне трудно судить. Я все-таки обретаю все время свой возраст, и у меня немножко другая стоит проблема: как продолжить или завершить свое развитие. И приходится смириться, что это уже не переделаешь, не переписишь. Но и для меня остается проблемой, как сказать о текущем мгновении.

Сейчас все вздыхают о преимуществах застоя для возможности письма. Мне кажется, это все потому, что к любому факту ты мог возвращаться бесконечное число раз, и он нигде от тебя не девался — ни сюжет, ни замысел, ни поворот. А сейчас прошлое нагнало будущее, и мы живем в настоящем времени. Тот, кто в настоящем времени, — это, собственно, и есть художник. Кто видит картину, которая совсем не описана и не ясна. И если раньше я в себе воспитывал какой-то внутренний духовный метод, чтобы оказаться вне традиции и только так войти в традицию, то есть впрямую противостоять реальности, не входя в нее вооруженным уже готовым восприятием, то сейчас это у всех так, сейчас само время такое. У меня совпал метод с состоянием

времени, и вдруг это стало трудно отличить, потому что раньше у меня всегда была дистанция. Сейчас я себя чувствую втянутым в общее состояние и общую картину тоже не очень вижу, не очень знаю, как писать. Я подозреваю, что у кого-то из моей генерации, условно говоря, проблемы могут быть гораздо сложнее. А что касается молодых, то им, может быть, дано увидеть эту общую картину, потому что ее появление совпало с их 18-летием, 20-летием, тогда, когда в человеке складывается представление о мире. От них литературы еще придется ждать. А пока что совершенно закономерно обучение всем приемам, обретаемым все с большей легкостью и непосредственностью. Все-таки у них есть какая-то возможность ориентироваться в том, что было сделано до них. Я-то страдаю от обратного. У меня ушла вся жизнь на то, чтобы как-то ощутить конструкцию культуры. Но все это было проработано через личный опыт, и теперь мне стало не хватать образования. А времени рефлектировать все меньше. Я все же думаю, у меня есть еще какая-то ниша писать то, то и это — вне зависимости как оно будет оцениваться окружающими. Сам для себя я такую перспективу вижу, но одновременно вижу и сужение поля, потому что многие вещи и хотел бы делать, но уже не смогу. Поэтому в сегодняшнем дне разобиться сложно, может, чего-то еще и нет.

— Может быть, не выработаны какие-то методы описания? Для XIX века были свои, для шестидесятников — свои. Какие-то общие приемы. А теперь все пробуют что-то, пристреливаются.

— Мне всегда плохо удавалось делить литературу на периоды. Я мучительный читатель, читаю очень медленно — и это так же мучительно, как и писать. Может быть, я мало читал за свою жизнь, но я читал только то, что мне нравилось. И для меня не существует XIX века, 60-х годов, я все-таки всех вижу по единицам, даже не по писателям, а по книгам. Это лишь для действительно мощных умов — увидеть картину в целом. А мы читали что-то Пушкина, что-то Чернышевского — и вот картина XIX века. Я действительно влюблен в русскую классику, в Золотой век, и для меня в нем нет большего разнообразия, ни жанрового, ни индивидуального. Поэтому все это распадается для меня на единицы произведений прежде всего, и во вторую очередь — писателей. А единицы направлений

или эпох — это для меня область спекулятивная и даже в каком-то смысле некультурная.

— Конечно, каждый прием любой писатель разрабатывает для себя сам и с ним работает. И все-таки, мне кажется, есть некий алгоритм творчества.

— Ну, может быть, он вам виднее, вы же значительно моложе и на это смотрите сверху. А я в 27 лет впервые прочел Евангелие. Впервые прочел Мандельштама, Заболоцкого, Пруста. И при этом я же не был питекантропом. В 26 лет, в 63-м году, я уже был автором тех вещей, под которыми до сих пор подписываюсь. Последовательность, в которой поступает информация, тоже много значит. Я очень хорошо помню, как читал Шервуда Андерсена, и он мне ужасно нравился и интересовал тогда больше, чем Хемингуэй. И его до сих пор очень люблю, но только позже понял, что я вычитывал в нем еще не читанного Джойса. То есть иногда можно во вторичном найти первичное. Это не значит, что ты становишься третичным. Это какой-то особый феномен развития внутри нашей безграмотности.

— По-моему, до сих пор на филологическом факультете практикуется изучение типичных приемов по второстепенным ав-

торам, у которых они лучше выражены.

— Кстате, хорошо, это вообще не вредно. По поводу же иерархии ценностей: культура в каком-то смысле и есть правильно расставленные иерархии ценностей. В связи с этим интересно издание ПЕН-центра «Крут чтения». Сперва его выпускал Политиздат, потом в условиях нашего рынка оно совсем, бедное, погибло. Сейчас мы его пытаемся возродить. Это альманах, ежегодник, построенный по очень случайному и поэтому очень приятному формальному признаку. Это литературный календарь, вмещающий всякого рода даты. И как «Соло», при всей его ограниченности, может стать органом первой писательской заявки, так «Крут чтения» может стать органом литературной эссеистики. Потому что эссе — это всегда перспектива развития прозы. В эссе слог и слово напрягаются до уровня художественности, чего не бывает в простой академической статье. Высшая форма эссеистики — это Нагорная Проповедь (Бог меня простит за такой пример), когда абсолютно непонимающей пастве надо сказать истину.

— Вы и сами любите писать в этой манере.

— Да, иногда это увлекает меня больше, чем художественное



Фрагмент из книги А. Битова и Р. Габриадзе «Трудолюбивый Пушкин»

творчество. И чем дальше, тем больше. Вообще, каждый писатель с возрастом хочет сделать что-то помимо письма. Можно вспомнить Пушкинскую попытку с «Современником». То есть он чувствует, что есть какие-то иные формы. Сделать книгу... И вот мы с моим ближайшим другом Резо Габриадзе, замечательным художником и писателем, в самом начале перестройки разработали такую лабораторию книги, или театр книги, который нам, как редакторам, никак не удавалось пробить. Мы хотели хоть раз издать книжку, ну пусть в 300 экземплярах, но чтобы она была свободная, чтобы она была тем организмом, которым она была рождена — не только текстом. В общем, две книжки такого рода мы издали. Началось все с манифеста «Свободу Пушкину!» Мы предоставили Пушкину свободу, отпустили его в Испанию. Потом Пушкин ездил у нас в Америку, в Китай — и всюду, всюду... У нас задумана дюжина таких книжек: «Трудолюбивый Пушкин», «Как писался «Медный всадник», «Тяжеловесный Пушкин», «Пушкин авангардист», «Пушкин птичка», «Пушкин всюду»... Вторая книжка, которую мы выпустили, — это «Трудолюбивый Пушкин».

Приносит мне Габриадзе как-то лист, на котором Пушкин лежит в свободных позах, и говорит: «Ужасно удачно сел рисунок, но я не знаю, что с ним делать, что под ним подписать?» Я говорю: «Очень просто: «Пушкин ничего не делает», а здесь «Пушкин опять ничего не делает», а здесь «Еще раз ничего не делает», а здесь «Пушкин уже ничего не делает». Из этого сразу родился сюжет. И когда его стали прорабатывать, то оказалось, что такой день — я, как доморощенный пушкинист, мог это установить — мог быть только 26 сентября 1835 года, когда он написал «Вновь я посетил...». При наличии кое-какой техники мы можем сделать такую книгу при публице: получился бы спектакль. Или вот такая книга про Зайца, как Заяц перебежал Пушкину дорогу, называться должна «Вычитание Зайца». Там 300 рисунков Габриадзе с моим текстом. Шесть вариантов в разных жанрах того, как Заяц перебежал ему дорогу. У меня еще 20 лет назад была шутка, что надо поставить памятник Зайцу в том месте, где он перебежал дорогу, потому что это решает очень много в русской культуре. Резо нарисовал кучу проектов — в мраморе, в лабраторе. Только, говорит, уши отбьют. В общем, цель — давать свободу. А свобода — вещь очень дорогая, очень не бесплатная. К сожалению, некоторые идеи моложе нас самих.